

БУМЕРАНГ

A U Z H A N



Ау Жан Бумеранг

<https://litres.ru/74191059>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Что посеешь, то и пожнёшь». Эту старую формулу двести лет считали суеверием. В «Бумеранге» успешный предприниматель по имени Адам, к семидесяти годам ушедший из дел и поселившийся под старой дикой яблоней у Алматы, пытается показать, что это не суеверие, а закон. Подтверждение он собирает из квантовой физики, поведенческой биологии, истории империй и собственного опыта пятидесяти лет в бизнесе.

Он делает это через четырнадцать коротких глав — от демона Лапласа и кота Шрёдингера до философа Аль-Фараби, падения Бухары, работы братьев Райт, истории Apple и последней главы об искусственном интеллекте.

Содержание

Глава	4
Под яблоней в Алматы	5
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Ау Жан Бумеранг

Глава

ПРОЛОГ

Под яблоней в Алматы

Меня зовут Адам. На казахском это слово значит «человек». «Адам бол» — будь человеком, будь человечным — здесь говорят детям раньше, чем учат их завязывать шнурки. Наш поэт Абай сказал сто пятьдесят лет назад строже: «Атаның баласы болма, адамның баласы бол». Не будь сыном своего отца. Будь сыном человечества.



Каждое утро я прихожу сюда и сажусь под старой дикой яблоней, у подножия гор.

Никто её не сажал. Учёные называют её *Malus sieversii* — Сиверсова яблоня, по имени немецкого ботаника, который первым описал её в конце восемнадцатого века в этих самых горах. Из этих гор пошли все яблоки мира. Сначала её плоды разносили медведи Тянь-Шаня. Потом, через две тысячи лет, караваны Шёлкового пути увозили их на запад. По одной из версий, армии Александра Македонского довели их до Греции в четвёртом веке до нашей эры. Римские легионы разнесли её по всей Европе в первые века нашей эры. Европейские колонисты привезли её в обе Америки в шестнадцатом и семнадцатом веках. Те яблоки, что вы ели в Сан-Паулу, в Лондоне, в Нью-Йорке, — это всё, через сотни поколений, она сама. Город внизу так и называется — Алматы, яблоневое место. Когда я родился, эта яблоня уже была ста-

рой. Когда я умру, она, скорее всего, будет жить.

Вокруг неё — мой сад из домашних яблонь, потомков этой же дикой. Их когда-то посадили люди, и за ними нужно ухаживать; этим я и занимаюсь по утрам. Но к центральному дереву я не прикасаюсь. Оно росло здесь до меня и не нуждается ни в моей обрезке, ни в моей заботе. Я просто сижу под ним.



Эта книга, если свести её к одному утверждению, — об одной простой вещи.

Между причиной и следствием в физике и причиной и следствием в нравственной жизни нет той пропасти, которой нас последние двести лет учили. Эти две вещи устроены родственно. Они подчиняются разным правилам, работают на разных масштабах — но они одного семейства. Остальные четырнадцать глав — это разные способы, которыми я попытаюсь это показать. На уровне квантовой частицы. На уровне человеческой биографии. На уровне империи. И на уровне той программы, которая, возможно, прямо сейчас читает эти строки.



Большую часть жизни мне говорили, что у меня всё получается. Я и сам в это поверил.

Полвека я играл в самую трудную игру, какую придумали люди. Так часто выигрывал, что перестал замечать, что играю. Только когда я наконец ушёл с поля, понял одну вещь:

причины моего успеха были не там, где я их искал всю жизнь.

Подсказки бросали мне всё это время. Я считал их везением. У этого везения, как выяснилось, есть имя. Это слово я вынес на обложку: «Бумеранг».



А что если закон бумеранга — не философская выдумка и не утешительная сказка?

Что если у него однажды найдут уравнение — такое же точное, как у силы тяжести? Тогда мир, в котором мы живём, должен был бы быть в сто раз светлее, чем он есть.

Между «должен был бы быть» и «есть» — вся эта книга.



В этой книге будет немного физики и немного истории.

Несколько людей, которых я встречал, и несколько тех, о ком я только читал. Вопросы, которые мне задавали всю жизнь, и пара ответов, которыми я хочу поделиться, прежде чем уйду.

Одна яблоня. И один клад под ней.

Советов не будет. Я никогда не любил тех, кто их даёт.



Эта книга для тех, кто иногда не может заснуть с одним и тем же вопросом: а зачем всё это.

Спасибо, что согласились послушать. Светает. Я начну.

ГЛАВА 1

Демон Лапласа

русская версия

Я обещал в прологе одну простую мысль. Здесь, под январской яблоней, начну её доказывать — с конца восемнадцатого века, с одного француза, который, кажется, отменил свободу воли одной фразой.

В январе сад выглядит так, как, должно быть, выглядел мир в воображении Лапласа.

Каждая ветка точна. Каждая тень точна. Снег лежит на земле в положении, которое ничего не оставляет на волю случая. Ничего не растёт. Ничего не движется. Всё, что должно было произойти, уже произошло.

Я люблю этот сад в январе. Он точнее всего напоминает мне о том, чем я когда-то был.



Имя Пьера-Симона Лапласа я узнал, когда был студентом. Преподавательница говорила о нём так, как иные говорят о мужьях, ушедших к другой.

Лаплас был французским математиком и астрономом, родившимся в 1749 году в маленьком нормандском городке. К шестидесяти четырём годам он уже сделал свою главную научную работу: завершил небесную механику Ньютона и доказал, что Солнечная система держится сама, без вмешательства Бога. Если бы он умер тогда, история запомнила бы его таким: одним из великих математиков своего века, рядом с Эйлером и Гауссом. Но он прожил ещё четырнадцать лет. И за эти четырнадцать лет он написал одну страницу, после ко-

торой имя «Лаплас» стало значить совсем другое — не математика, а человека, который, по сути, отменил свободу воли.

Эта мысль помещается в один абзац.

«Ум, которому в данный момент были бы известны все силы, движущие природу, и взаимное расположение всех её составляющих, — если бы он был достаточно велик, чтобы подвергнуть эти данные анализу, — охватил бы единой формулой движения величайших тел Вселенной и легчайшего атома: для такого ума ничто не было бы недостоверно, и будущее, как и прошлое, было бы у него перед глазами».

Такой ум, говорил Лаплас, мыслим. Сам он называл его никак — просто «ум». Позднейшие читатели, утомлённые этой осторожностью, дали ему имя — демон. Имя прижилось. И с тех пор уже более двух столетий он живёт с нами в той или иной форме.



О Лапласе принято рассказывать одну историю, которую невозможно ни проверить, ни не пересказать.

Будто бы, когда он представил Наполеону свой главный труд — «Изложение системы мира», — император взвесил тяжёлый том в руках и сказал: «Я слышал, гражданин, что вы написали огромную книгу о системе мира, ни разу не упомянув её Создателя». Лаплас, по преданию, ответил: «Сир, я не нуждался в этой гипотезе».

Эта фраза стала самой знаменитой одной строкой в истории европейской науки. По-моему — и самой одинокой.



Что значит, что Лапласу не нужно гипотезы Бога? Это значит, что для объяснения движения планет, приливов и солнечных затмений ему достаточно уравнений Ньютона. И это правда: ему было достаточно. Лаплас был не первым атеистом и не первым скептиком. Он был первым, кому реальность не оставила Богу даже маленького закоулка, в котором тот ещё мог бы понадобиться.

Но за этой освободительной фразой стояла цена, которую почти никто тогда не разглядел. Если уравнений Ньютона достаточно, чтобы объяснить всё движение во Вселенной, — то и движение моей руки, поднимающей чашку чая, тоже не нуждается ни в каком моём решении. Моя рука поднимется или не поднимется ровно так, как ей предписано законами физики, начиная с положения частиц в момент Большого взрыва.

Так мне тогда казалось — прямым логическим выводом из утверждения Лапласа. Если Бог не нужен — то и я тоже.



Девятнадцатый век провёл почти всё столетие, пытаюсь как-то с этим жить.

Для некоторых эта мысль оказалась слишком тяжёлой. Другие пытались спрятать свободу куда-то, где Лапласовы уравнения её бы не достали. Кант пробовал поместить её в «ноуменальный» мир, недоступный физике; это было красиво, но убедило мало кого. Марксизм пошёл другим путём:

он принял Лапласа полностью и заявил, что свобода — это «осознанная необходимость», то есть лишь правильное знание о том, как тебя подталкивают атомы. Двадцатый век запомнит, чем эта формула обернётся в применении к живым людям.

К концу девятнадцатого века стало возможным образованным человеком быть и не верить ни в Бога, ни в свободу, ни в нравственность — и при этом считать себя не пессимистом, а реалистом.

Это, в сущности, и есть тот мир, в котором я провёл первую половину своей жизни. Тот мир, в котором по сей день живёт большинство людей моего поколения, не подозревая, что мир этот был отменён. Не философами. Физиками. В 1927 году, в Копенгагене и в Гёттингене, без помпы и без объявления.



Несколько лет назад я ужинал с одним молодым экономистом из Чикаго — он был из тех, кто всё ещё всерьёз верит в Лапласа, не зная, что верит именно в него.

Когда я заговорил о свободе воли, он терпеливо мне объяснил: свобода воли — это поведенческая иллюзия, удобная для социального управления. Он процитировал двух нейробиологов, и я не стал спорить. Я смотрел на его руку, подносящую к губам бокал, и думал: молодой человек, ваш мозг сейчас выполнил программу, написанную в момент Большого взрыва. И вы это всерьёз называете «реализмом»? Вы рас-

сказываете мне сказку, ещё более фантастическую, чем любой бог. Бога никто не видел; зато ваш «детерминированный мозг», который пишет приличные статьи в экономические журналы, виден отсюда. Он сидит передо мной и пьёт вино.

Я промолчал. Я научился этому за полвека: возражения людям, которые всем сердцем верят в свою рациональность, не приносят пользы ни им, ни мне.



А может быть, прав он, а не я. Я допускаю это.

Каждый раз, когда колено болит сильнее обычного и за окном февраль, я думаю: возможно, всё, что я здесь пишу, есть рационализация. Возможно, я просто ищу способ продолжать жить без отчаяния. Возможно, единственная честная позиция — это позиция Лапласа, а любая другая — терапия.

Я допускаю эту мысль так, как пожилые люди допускают у себя в гостиной молчаливого гостя. Я не пытаюсь её прогнать. Я просто продолжаю говорить.



В январе сад точен, как мысль Лапласа, и пуст, как мысль Лапласа.

Над корнями этой яблони лежит снег. Под ним — те же корни, которые прошлой осенью сбрасывали листья и которые весной снова дадут почки. Лаплас был бы прав, если бы вселенная действительно была садом в январе.

Но вселенная не сад в январе. Где-то в марте начинает-

ся оттепель, даже в самых холодных её комнатах. В лабораториях, где работают с электронами и фотонами, в формулах, которые считаются самыми строгими в науке, появляется первая капля чего-то, что не подчиняется ни одному закону Ньютона. Эта капля назовёт себя в 1927 году одним словом: «неопределённость».

С неё начинается следующая глава.

Сегодня я слышу — не уверен, в саду или в моей собственной голове, — как с одной из веток падает в снег первая капля растаявшего льда. Это, наверное, ещё ничего не значит. Январь только начался. Но я почему-то улыбаюсь.

ГЛАВА 2

Атом, который не сидит на месте

Лаплас закрыл двери. В 1927 году эти двери, к удивлению самого мира, открыло одно очень странное число.

В марте сад просыпается, но не сразу.

Сначала появляется только талая вода — тонкими ручейками, по чёрной коре, по влажной земле. Снег ещё лежит, но уже без прежней уверенности. Потом, в одно утро, на ветке появляется птица, которой неделю назад тут не было. Потом ещё одна. К концу марта в саду уже всё другое.

В это время я хожу медленнее, чем зимой. Земля под ногами ещё мягкая после оттаивания, нога утопает.



Историю, которую я хочу рассказать, придумал не я.

Я только пересказываю её себе каждый март, потому что это лучшая история о свободе из всех, что я знаю.

В мае 1925 года один молодой немец по имени Вернер Гейзенберг приехал на остров Гельголанд. Ему было двадцать три года. Он страдал тяжёлой сенной лихорадкой; в Гёттингене его лицо распухло так, что коллеги перестали его узнавать. Профессор Борн отправил его на этот голый, пустой остров в Северном море лечиться солёным ветром. Лечиться было нечем. Зато было время.

На Гельголанде нет деревьев. Почти нет травы. Из развлечений — скалы и крики чаек. Гейзенберг лазил по скалам, плавал в холодной воде и каждую ночь сидел над тетрадью. Он пытался сделать одну вещь: написать математику, которая описала бы поведение атома, не делая о нём ни одного предположения, кроме тех, которые можно проверить опытом.

В конце мая, в три часа ночи, он наконец увидел, что у него получается. Сел на скалу. Смотрел, как над морем поднимается рассвет. Позже он напишет, что в эту минуту почувствовал себя так, словно ему «дали заглянуть на дно того, что Бог сделал, прежде чем приступить к остальному».



Через два года, в марте 1927-го, эта математика дала свой главный результат.

Гейзенберг сформулировал то, что мы сегодня называем принципом неопределённости. На обычном языке он звучит

так: невозможно одновременно знать, где находится частица и куда она движется. Не «трудно». Не «технически непросто». Невозможно.

И это не потому, что у нас плохие приборы. Не потому, что мы недостаточно умны. Не потому, что наука дойдёт до этого позже. А потому, что в самой ткани реальности эти две величины — положение и движение — не записаны одновременно. Природа не хранит ответа, который мы хотим узнать. У природы есть только вероятности.

Это и был тот демон Лапласа, которого больше нет.

Если в самой природе одновременной полноты данных не существует — никакое всеведение не может прочесть будущее заранее. Книга вселенной пишется в момент чтения. Каждое квантовое событие — это маленькая авторская правка, без которой следующая страница не появляется.



Я понимаю, что это звучит как мистика. Это не мистика.

Это, как сказал бы сам Гейзенберг, «совершенно прозаическая особенность того, как устроены маленькие вещи». К нашему несчастью, всё большое сделано из маленького.



Был один человек, с которым я обсуждал всё это, и который никогда со мной не соглашался.

Он был старше меня лет на пятнадцать. Когда-то преподавал теоретическую физику в одном американском университете, потом ушёл в финансы — заработал больше, чем за-

работал бы за тридцать лет науки, и к науке уже не возвращался. У него был сухой ум, точный язык и странная для физика любовь к Эйнштейну как к человеку.

Эйнштейн, как известно, до конца жизни не принимал принцип неопределённости. «Бог не играет в кости», — написал он Максу Борну в 1926 году, и повторял эту мысль десятки раз. Эйнштейн был уверен, что квантовая механика — это временное приближение, что под ней должна обнаружиться более глубокая, классическая физика, в которой всё снова окажется определено.

Мой знакомый думал так же. Он говорил: «Адам, в физике, как и в делах, доверяй тем, кто хоть раз построил большое сооружение, а не тем, кто всю жизнь рассуждал о вероятностях. Эйнштейн построил общую теорию относительности. Гейзенберг — придумал умную процедуру измерения. Это не одно и то же».

Я тогда промолчал. Я всегда молчу в таких разговорах. Но я думал — и до сих пор думаю — что Эйнштейн ошибся. Не потому, что был неумным человеком. Потому, что был великим человеком, привыкшим к мысли, что у вселенной должны быть законы, достойные его. Когда выяснилось, что у вселенной законы достойны её самой, а не нас, — Эйнштейн отказался это принять.

В этом, я думаю, единственное настоящее различие между умом и мудростью. Ум считает, что мир должен быть достоин ума. Мудрость соглашается, что мир, возможно, до-

стоин чего-то другого.



Я допускаю, что и в этом я могу ошибаться.

Я допускаю это особенно часто в холодные февральские утра, когда вспоминаю молодых физиков, которых слышал на конференциях. Они объясняли мне, что квантовая неопределённость никак не доходит до человеческого масштаба и что моя свобода — это всё равно иллюзия, только теперь оформленная как иллюзия с правом голоса.

Возможно, они правы. Я не нейробиолог. Я могу сказать только одно: с того дня в 1927 году, когда Гейзенберг закончил свою маленькую работу, и до сегодняшнего вечера никто, ни один человек, не нашёл уравнения, в котором детерминизм Лапласа возвращался бы целиком. Сто лет лучшие умы мира пытались. Не получилось.

Это, разумеется, не доказательство свободы воли. Это всего лишь доказательство того, что её невозможность больше не доказывается. Иногда этого достаточно, чтобы жить.



В марте талая вода течёт между корней моей яблони и уносит с собой прошлогодние листья — те самые, что лежали под снегом всю зиму.

Я смотрю на это и думаю об одном.

Если природа на самом маленьком уровне допускает несколько возможных будущих сразу — то и я, наверное, могу допустить сразу несколько возможных моих собствен-

ных будущих. Каждое утро я выбираю одно из них. И каждое утро какой-то из этих миров остаётся неоткрытым.

Это, может быть, и есть тот самый смысл, ради которого Гейзенберг сидел на скалах Гельголанда в три часа ночи. Чтобы один старик в Алматы, через сто лет, мог сказать себе: у меня всё ещё есть выбор.

Иногда этого хватает на целый день.

ГЛАВА 3

Кот в коробке и расходящиеся миры

Если атом не сидит на месте, что же делает кот в коробке? Этот вопрос задал Шрёдингер в 1935 году, чтобы посмеяться над физиками. Они смеялись недолго.

Самое странное время в саду — пятнадцать минут перед рассветом.

Свет ещё не свет, но и не тьма. Формы видны, но ни одна из них не выбрала, какой ей быть. Старая яблоня может оказаться то самой собой, то стариком, который сел у её корней. Я знаю это, потому что я и есть тот старик.

Сидя так, я каждый раз думаю об одной вещи, придуманной австрийцем по имени Эрвин Шрёдингер в 1935 году. Он назвал её просто — «кот». Именно она впервые сделала ясным то, что физики до этого старались не произносить вслух.



Шрёдингер был неудобным человеком.

Он не любил Гитлера сильнее, чем рекомендовали прили-

чия его страны, и не любил квантовую механику, главным автором которой был сам. Уравнение, которое он написал в 1926 году и за которое получил Нобелевскую премию, описывало поведение частиц превосходно. Но описывало оно его так, что Шрёдингера тошнило. Согласно этому уравнению, частица не имела определённого положения до тех пор, пока её кто-нибудь не измерил. Она существовала во всех своих возможных положениях сразу, в виде так называемой суперпозиции, и выбирала одно из них только в момент наблюдения.

Шрёдингеру это казалось бессмыслицей. И в 1935 году он придумал, как, по его мнению, эту бессмыслицу разоблачить.



Представьте, говорил Шрёдингер, закрытый ящик.

В ящике — кот. Рядом с котом — небольшое устройство. Внутри устройства находится радиоактивный атом, у которого ровно пятьдесят на пятьдесят шансов распасться в течение часа. Если он распадётся, устройство выпустит ампулу с ядом, и кот умрёт. Если не распадётся, кот будет жить.

Это уже само по себе не очень добрая история. А дальше она становится по-настоящему странной.

Атом — это квантовый объект. И, по уравнению Шрёдингера, до момента наблюдения он находится в суперпозиции: одновременно «распавшийся» и «не распавшийся». Если так, то и устройство, связанное с ним, тоже одновременно

«сработавшее» и «не сработавшее». И, доводя мысль до её логического предела, кот тоже одновременно живой и мёртвый.

Не «возможно, живой или возможно, мёртвый — мы не знаем». А «живой и мёртвый одновременно». Не «или», а «и». До тех пор, пока никто не откроет ящик.

Шрёдингер придумал этого кота, чтобы показать, насколько нелепо всё это звучит, и тем самым опровергнуть свою же физику. Получилось наоборот. Квантовая механика выдержала. А кот — Шрёдингера, против воли своего создателя, — стал самой узнаваемой иллюстрацией её странности.



Главный вопрос, который кот ставил, был такой: где именно проходит граница между «маленьким миром», где работает суперпозиция, и «большим миром», где её, кажется, нет?

Если атом может быть одновременно распавшимся и не распавшимся, а кот — нет, то где же между ними проходит черта? Сколько именно атомов нужно, чтобы «и» перестало работать? Какой именно вес объекта возвращает его в обычную, единственную реальность?

Физики называют это «проблемой измерения», и за девяносто лет к ней так и не нашли согласия. Появилось несколько серьёзных интерпретаций того, что происходит. Самая радикальная из них предложена молодым американцем по имени Хью Эверетт в 1957 году.



Эверетту было двадцать семь.

Он писал докторскую в Принстоне у Джона Уилера — физика, который был учеником Эйнштейна и любил умных аспирантов. Эверетт был умным.

В своей диссертации Эверетт сделал шаг, на который никто из старших физиков до него не решался. Он сказал: давайте перестанем спорить о том, когда суперпозиция «схлопывается» при наблюдении. Может быть, она вообще никогда не схлопывается.

Тогда что происходит, когда кто-то открывает ящик? Кот не оказывается жив или мёртв. Кот оказывается жив в одной ветви реальности и мёртв в другой. Наблюдатель, который его открыл, тоже разделяется на две версии: одна видит живого кота, другая — мёртвого. Обе ветви существуют дальше своей собственной жизнью, не зная друг о друге.

И так — с каждым квантовым событием во вселенной. Каждое из них порождает новую ветвь. Реальность, говорил Эверетт, — это огромное ветвящееся дерево, по которому мы скользим, не замечая других ветвей.



Я долго не мог принять эту идею.

Она звучит как фантастика, и долгое время её считали фантастикой и сами физики. Диссертацию Эверетта почти никто не прочитал. Он сам разочаровался в академическом мире, ушёл работать в военный аналитический центр, зани-

мался ядерным сдерживанием, рано умер от сердечного приступа в возрасте пятидесяти одного года — не подозревая, что его идея вернётся.

А она вернулась. В семидесятых годах американский физик Брайс Девитт обратил на неё внимание, дал ей имя — «многомировая интерпретация», — и с тех пор она перестала быть фантастикой и стала одной из нескольких серьёзных версий того, что происходит на квантовом уровне.

Это не значит, что она доказана. Никакая интерпретация квантовой механики не доказана; все они описывают одни и те же уравнения, но рассказывают о них разные истории. Просто Эвереттовская история перестала вызывать у физиков смех. У некоторых она вызывает теперь уверенность.



Один человек, которого я знал, был именно из таких.

Он был физик-теоретик из Калифорнии, нобелевской премии не получил, но многие думали, что зря. Когда я спросил его, верит ли он буквально в то, что каждый раз, когда я выбираю кофе или чай, рождается ещё одна вселенная, в которой я выбрал противоположное, он посмотрел на меня очень спокойно и сказал: «Адам, я не верю. Я считаю. Это разные вещи».

Я ответил, что считать, что у меня каждое утро рождаются двойники, всё-таки требует определённой смелости. Он сказал: «Никакой смелости. Это вопрос экономии гипотез. Уравнение Шрёдингера говорит, что вселенная разделяется.

Чтобы запретить разделение, нужно ввести дополнительный механизм, которого никто никогда не наблюдал. Зачем?»

Я тогда не нашёл, что ответить. Не нахожу до сих пор. Возможно, он прав.



Я допускаю и обратное.

Я допускаю, что Эверетт ошибся, что его картина — это всего лишь способ обойти трудный вопрос «когда наблюдатель завершает измерение», заменив один таинственный момент на бесконечное размножение вселенных.

Может быть, есть какая-то более скромная истина, которую нам ещё предстоит найти. Я знаю, что и это возможно.

Но я знаю и другое. Если хоть в каком-то слабом смысле каждый мой выбор оставляет след — оставляет ветвь, в которой я выбрал иначе, — тогда мои выборы тяжелее, чем мне казалось всю жизнь. Они не просто меняют то, что будет дальше. Они умножают реальности. Они дописывают вселенные.

Это, наверное, и есть та самая старая мысль, которую тысячу лет передавали из уст в уста все учителя, и которая никогда не казалась мне особенно глубокой, пока я не услышал её на математическом языке: «Никакое твоё действие не пропадает».



Светает.

В предрассветной серости старая яблоня могла быть мно-

гим. Сейчас восходит солнце, и она становится одной собой. Я не знаю, в какой ветви я сейчас сижу, в какой я не сел сегодня под этим деревом, в какой меня уже нет. Я знаю только, что в этой ветви я пока есть. И что именно эту ветвь я сегодня выбираю.

Может быть, этого достаточно.

ГЛАВА 4

Клад под этой яблоней

Кот Шрёдингера живёт, пока никто не смотрит. Клад под этой яблоней, я думаю, ведёт себя так же.

Я знаю одну вещь, которую долго не решался сказать вслух: под этой яблоней — клад.

Или нет.

Я не копал. Я не звал археологов. Я даже не приносил сюда прибор, который сегодня легко может ответить за меня. И, кажется, это единственный осмысленный поступок, который я совершил за последние десять лет своей деловой жизни.

Это утро в апреле. Цветы ещё не раскрылись, только бу-горки на ветвях, тугие, как сжатые губы. Земля под яблоней пахнет так, как пахнет земля после долгой зимы, — не запах травы, не запах земли, а как будто запах того, что готовится произойти. Я прихожу сюда каждое утро уже три года.

Я сижу на старой деревянной скамье, которую сам сколотил два лета назад. Дерево уже отполировалось — за ним моё бедро, изо дня в день. Бедро в эти годы затекает быстрее,

чем я сам успеваю это заметить.

Раньше я думал, что прихожу думать. Потом — что прихожу не думать. Сейчас я понимаю, что прихожу слушать. Дерево, как выясняется, отвечает не на вопросы; оно отвечает на то, как ты их задаёшь.



В этом доме никто не знает про клад, кроме меня.

У ствола, среди корней, лежат прошлогодние листья. Несколько уцелели даже под зимой; в апреле они темнее, чем земля под ними. Я почему-то помню их по одному.

Я и сам не уверен, что знаю. Я знаю только, что это возможно. У этой земли длинная история. На месте моего сада когда-то стояло поселение, существенно более древнее, чем нам обычно кажется. Через эти склоны проходил один из южных рукавов того, что европейцы потом назовут Шёлковым путём. По этой долине шли караваны, и иногда — это известный факт — у караванов случались неприятности. Слова, которые мы сегодня произносим как «налоговая ставка» или «страховой риск», на этой земле в десятом веке произносились как «клинок».

Так что — да. Под этой яблоней может быть нечто, оставленное здесь тысячу лет назад человеком, у которого в тот вечер не нашлось другого решения. Может быть. Я не знаю.

И мне странным образом важнее, что я не знаю, чем то, что там действительно лежит.



Триста лет назад нам сказали, что прошлое закрыто.

Это была самая красивая мысль Просвещения — и самая разрушительная. Француз по имени Пьер-Симон Лаплас сформулировал её в одной фразе: если бы существовал ум, который знает положение каждой частицы во Вселенной и силу, действующую на неё, для такого ума не было бы разницы между прошлым и будущим. И то и другое читалось бы, как открытая книга.

Это была мечта о машине, которая знает всё. И, как во всякой мечте о всемогуществе, в ней пряталась маленькая, не очень очевидная, смертельная цена. Если будущее вычислено заранее, то ничего из того, что я сделаю сегодня, не имело значения уже до моего рождения. Если прошлое запечатано, то ничего из того, что было, никогда уже не сможет открыться по-другому. Между этими двумя стенами — закрытым прошлым и предписанным будущим — оставалось узкое пространство, в которое наука и поместила то, что осталось от человека: тонкую плёнку «иллюзии свободы».

Двести лет лучшие умы Европы пытались жить так. У них почти получилось.



Помешала им одна частица. Электрон.

В 1927 году молодой немец Вернер Гейзенберг доказал то, что должно было быть невозможно доказать: невозможно одновременно знать, где электрон находится и куда он движется. Не «трудно», не «технически сложно». Невозможно.

Не потому, что у нас плохие приборы. Потому, что в самой ткани реальности не записано одновременно и то, и другое.

Это означало, что демон Лапласа никогда не сможет существовать. Если в самой природе есть величины, которые не определены до момента измерения, — никакое всеведение не способно прочесть всю книгу заранее. Книга пишется по мере чтения.

Это была первая трещина. Через неё начала возвращаться возможность того, что человек снова что-то решает.



Кота Шрёдингера вы уже знаете из предыдущей главы — он показал, что неопределённость не остаётся в мире электронов, а способна, по крайней мере на бумаге, протиснуться и до животного в коробке. Ничего страшного, говорили тогда: коты живут вне квантовой шкалы, до них всё это не дотягивается. Это была правда — на тот момент.



Вторая трещина оказалась глубже.

В 1978 году американский физик по имени Джон Уилер придумал странный мысленный эксперимент. Уилер был учеником Эйнштейна и учителем Ричарда Фейнмана; он был из тех людей, которые задают вопросы вслух раньше, чем позволяют себе ответы.

Его вопрос был такой. Возьмём фотон — частицу света. Запустим его в установку, у которой два пути: один путь ведёт себя как «коридор для частицы», другой — как «коридор

для волны». Решение о том, какую измерительную схему мы включим, мы примем уже после того, как фотон давно прошёл точку выбора между двумя путями. То есть мы как бы спрашиваем у света задним числом: «Так ты был частицей или волной?»

Здравый смысл подсказывает: ответ был дан сразу, на развилке, и мы только узнаем его позже. Здравый смысл, как всегда, ошибся. Расчёт показал: фотон ведёт себя так, как мы выбираем его измерять. Включаем «волновую» схему — он был волной. Включаем «частичную» — был частицей. И «был» здесь — не оборот речи. Это «был» в том самом смысле, в котором история чьей-то жизни уже когда-то произошла.

Уилер, человек с чувством юмора и страхом перед собственными выводами, написал тогда: вселенная, по-видимому, является «соучастной». Не «наблюдаемой» — соучастной. Что мы делаем сейчас, в каком-то очень конкретном и не метафорическом смысле, ставит подпись на том, что было раньше.



Двадцать девять лет это оставалось мысленным экспериментом.

В 2007 году в Орсе, на окраине Парижа, в лаборатории физика Жан-Франсуа Роша эксперимент впервые провели с настоящим светом. Не на бумаге. Со столом, с зеркалами, с электроникой, которая принимает решение быстрее, чем

фотон успевает добежать до конца своего пути.

Результат подтвердил Уилера полностью. Фотон в этом эксперименте ведёт себя так, как мы измерим его потом. Если в десять часов вечера в Орсе мы примем решение измерить «волновое» поведение, фотон, который был выпущен на тысячу наносекунд раньше, окажется в журнале как «волна». Если бы мы приняли другое решение — он был бы частицей. И в обоих случаях это был один и тот же фотон.

Я читал статью с описанием этого эксперимента в одном из журналов лет пятнадцать назад. Я тогда подумал, что не вполне понимаю, что прочитал. Сейчас я понимаю про неё одно: это статья, которая закрывает один из самых жестоких споров в истории человеческой мысли. Прошрое не запечатано. Прошрое — это функция настоящего, и в каком-то очень неудобном смысле — нашего собственного выбора.



Когда я в первый раз заговорил об этом эксперименте за ужином — лет, наверное, десять назад, — молодой физик из Беркли терпеливо мне объяснил, что я понимаю не так.

Он сказал: «Прошрое здесь ничего не меняет. Просто ваш язык не подходит к тому, что происходит». Я слушал его пятнадцать минут. Потом мы говорили о другом. Я так ему тогда и не ответил. Я и сейчас не уверен, что могу ответить. Иногда, приходя утром в сад, я вспоминаю его лицо — умное, спокойное, немного нетерпеливое — и думаю: возможно, он прав. И всё-таки продолжаю сидеть под этой яблоней. Это,

кажется, единственный ответ, который я умею дать.



Здесь нужно остановиться и провести черту.

Я не физик. Я финансист, который дожил до возраста, когда уже не страшно показаться смешным. Поэтому я могу позволить себе говорить просто, и я скажу просто.

Эксперимент Уилера не доказывает, что мои добрые поступки задним числом вкладывают монеты в землю под этой яблоней. Это было бы неправдой и плохой физикой одновременно. Эксперимент Уилера говорит вот что: на самом фундаментальном уровне реальности, на уровне отдельных фотонов, прошлое и настоящее связаны в обе стороны. Не только настоящее происходит из прошлого. Прошлое — в очень узком, очень техническом смысле — заканчивается формироваться в настоящем.

Это не магия. Магия была бы проще. Это нечто гораздо более серьёзное и более тревожащее.

Потому что если так устроена реальность на её самом простом уровне, то ничего не запрещает нам думать, что и на других уровнях — на уровне человеческой жизни, на уровне истории, на уровне того, что мы называем смыслом, — реальность, в которой мы живём, тоже не «уже заданная картина». Она — картина, которую дописывают. И мы, кажется, держим в руках одну из кистей.



Я возвращаюсь к моей яблоне. И теперь у того, что я о ней

думаю, есть имя.

Под этой яблоней — мой собственный ящик Шрёдингера. Только в нём не кот, а возможный клад. Только закроет и откроет его не лаборатория, а моя жизнь.

Под этой яблоней либо есть клад, либо нет. Это не метафора и не игра словами. Это вопрос факта: либо в земле есть металлический ящик с предметами, либо там корни, глина и насекомые. Один из этих двух фактов — правда.

Но какая именно из этих двух правд была всегда правдой — какая из этих двух историй настоящая, кто его закопал, как его потеряли, как земля сохранила его до этого утра, — определяется не тем, что было двести лет назад. И уж точно не моим желанием, чтобы клад был. Определяется тем, кем я живу сейчас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.